

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо обито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

### **Одесса. Осень 1904 г.**

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.

Более яркой и ароматной личностью был армянин Минастянц. Среднего роста, улыбочивый и приветливый. Портной. Работал в мастерской богача Ландемана. Он называл себя "социалистом" и аккуратно посещал политические лекции и доклады.

Третьим соседом был великоросс Попов. Высокий, крепкий ширококостный, голубоглазый дядя. Манеры у него были приказчика гастрономического магазина. Его главной специальностью, кажется, было исключительное умение живо и картинно рассказывать анекдоты. Он их знал тысячи. Домой он являлся чаще всего в 12-1 ч. ночи, шумно и весело напевая воровские или проститутские песенки. Когда он находил нас спящими, он бесшумно раздевался и в нижнем белье медленно с высоко поднятой головой, точно совершая какой-то ритуал, обходил нас, стаскивая с нас одеяла.

— Проснитесь, сукины сыны, есть новый анекдот! Замечательный!

Мы громко ругались, но он был неумолим. И мы должны были, ежась и дрожа от холода, выслушивать новый замечательный анекдот.

Хозяйка наша Ольга Павловна, толстая с желтым и запавшим лицом женщина, кормила нас такими обедами, что все мы должны были носить в кармане пузырек с каплями Иноземцева. Когда изнуренный желудочными коликами добрейший Минастянц страдальчески говорил ей: "Ольга Павловна, что ты, милый человек, кладешь такое в твой суп, что мы всю ночь бегаем?", хозяйка с лицом, полным изумления и возмущения, отвечала: "Не понимаю, в чем дело? Продукты свежие, посуда чистая! Это вы где-нибудь схватили в паршивых обжорках и на меня сваливаете".

— Эх ты, Минастянц Минастянцевич, да неужели ты не понимаешь, что наша Ольга Павловна нам готовит не на сливочном, а на резинном масле? — насмешливо говорил Попов.

— Ничего вам до самой смерти не будет, — скороговоркой победоносно отвечала она.

Минастянц со мною часто говорил о жизни, о бедности, о бедняках и богачах. Меня поражали его яркие мысли о религии. Он отрицал существование Бога и жестоко высмеивал все человеческие добродетели.

— Бог, — говорил он хриплым голосом, — выдуман богачами. Он им нужен. Бедным людям Бог нужен, как чирей на заднице. Что он им может дать? Ничего. Синагога и церковь — это цирки.

Он пламенно ненавидел полицейских, жандармов и глубоко верил, что рано или поздно им будет мокрый конец. "Ничего, доживем до того дня, когда я на них верхом покатаюсь. Вот уж покатаюсь".

К художникам и ко мне, в частности, он относился очень тепло:

— Жалко художников. Они много голодают.

Слово "много" он произносил нараспев.

— Ты, — обращался он ко мне с окутанным лаской и добротой лицом, — ты должен рисовать только бедных людей. Художник, по-моему, должен быть певцом бедных. У бедных людей есть большое сердце. В глазах бедных всегда горит человеческий огонь. Да. Если бы я был художником, я бы рисовал только бедных, голодных, оборванных и калек. Я не могу объяснить вам, но чувствую, что они на картинках должны выходить лучше.

Когда наступили сильные холода и на окнах появились узоры, будившие воспоминания о детстве, мы упрасивали хозяйку:

— Ольга Павловна, положите лишнее поленце в печь. Мерзнем, как местечковые собаки.

— Такие бравые и молодые ребята и так мерзнут. Стыдно, — отвечала она. — Берите еще одеяла.

И мы, ругая ее крепкой бранью, отставали от нее.

\* \* \*

Мою жизнь в Одессе нельзя было назвать блестящей. На каждую горсть радости судьба, в то время не ладившая со мной, отпускала мне тонны неприятностей и горя.

Я плохо питался. И только мой крепкий организм, неистребимая бодрость мяса и нервов меня поддерживали. Я приобретал зверские желудочные болезни и как-то лихо и весело расставался с ними. Моими дежурными блюдами были изюм мелкий, так называемый кишмиш, и сельди. Эти продукты я получал в неограниченном количестве. Но я не мог злоупотреблять связывавшим меня доверием лавочников, и брал столько, сколько мне нужно было.

Я не всегда мог писать натуру. Красок не хватало, особенно белил, ухививших во время работы в большом, пугавшем количестве.

Но все это меня не так волновало, как вопрос об одежде. Я скоро понял, что ходить по улицам с пустым желудком не страшно, а, разумеется, можно. Но ходить по улицам в старых, грязных, цвета половой тряпки штанах и в рубахе, рождающих даже у спешащего пешехода невеселую мысль о цвете и запахе нищеты — никак нельзя.

У меня завелась рыжеволосая курсистка. От нее, так мне казалось, пахло свежим запахом трав. У нее были кошачьи глаза, обещающие все

земные и неземные радости. Мне хотелось предстать перед ней обязательно в светло-синих, диагональных штанах.

\* \* \*

В школе я делал заметные успехи. Быстро переходил из одного класса в другой. За год я дошел до натюрмортного класса и удостоился весьма теплых отзывов.

В первом классе занятиями руководил итальянец Иорини. Обаятельная и добрейшая личность. Очень высокий, с сильно согнутой временем и пережитым спиной, круглый череп, слабо обтянутый старческой землито-желтоватой кожей. Простой, до наивности доверчивый и необычайно рассеянный. Ни семьи, ни друзей у него не было — только доброжелательно посмеивавшаяся над ним живопись и безгранично любившие его ученики.

Он свирепо не любил высшего начальства и держался по отношению к нему очень независимо. Ему доставляло большое удовольствие глядеть на него сверху вниз. Учтивая его заслуги перед скульптурой и особенно его преклонный возраст, оно мирилось с его мятежным характером. И терпело его.

Все мы широко пользовались его кошельком, точно забывая, что деньги, лежавшие там, нажиты его горбом и морщинами. Часто в его классе можно было услышать такой диалог:

— Мосье Иорини, что делать? Хожу почти босиком. Денег на покупку обуви нет... Холодные дожди...

— Ай, ай, ай, — слышен был хриплый старческий голос, — как можно, босик? Плѣхо, плѣхо. На, бери пять рублей. Пойди, купи.

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого человека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания рисования. С Иорини я скоро, не без грусти, расстался, перейдя в основной гипсовый класс.

Здесь я два месяца работал под руководством бесцветного и апатичного Попова, автора бессмысленных морских видов. Он подписывал свои пошлые морские пейзажи холодной подписью "А. Попов".

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой маргышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. Его слова,

напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толстокожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал, как своих личных врагов. Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александровичем, решала участь учащегося.

Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам:

— Мерзавцы, продажные шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылизут, — фыркая и заикаясь, говорил он. — Они губят художника. Они никогда по-настоящему не любили ни художника, ни великого искусства. У-у... Сволочь...

Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его кармана небольшие бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их наполняли чернилами или водой и клали ему опять в карман.

Живопись он ставил выше всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокрасочную живопись. Как и Делакруа, он считал, что враг всякой живописи — серое. Это он на всю жизнь привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал хорошей живописи с плохой поверхностью. "Натюрморт, — говорил он, — это не только цвет, но и поверхность".

— Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом, надо трубить... А если вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами — дерьмо.

Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов — Делакруа, Коро, из немцев — Менцеля, Лейбля.

— Какая манера! — восторженно говорил он. — Какая манера-а-а! Менцель! Гений! Да, гений. Такие художники рождаются раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться работать. Какой живописец, и какой рисовальщик! Редкое сочетание! Одним словом — гений!

И мы, не выдавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в школьную библиотеку и жадно (взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля.

Ладыженский любил сам ставить натюрморты. У него был огромный старомодный ореховый шкаф, доверху набитый разноцветными тканями, тряпками, металлическими кувшинами и китайскими вазами всех веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими и почти белыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал антиквара в своей лавке.

— Вот умру, — грустно и протяжно говорил он, — тогда берите все: и парчу дорогую, и китайский фарфор...

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам:

— Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и никогда, уверен, не будет.

Своих учениц он называл — невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и "тужурщиков", выпроваживал из своих двух мастерских.

— Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать!

У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную симпатию он питал к Фошко\*, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой взлохмаченных черных волос.

— Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от женщин надо. Та-а-алант.

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более ярким и радужным. В такие минуты все мы амфитеатром устраивались позади него и ревниво глядели на его изумительную работу.

## Погром

Повсюду говорят о больших политических событиях. Манифест, вырванный народом из рук растерявшегося и струсившего царя, трещины в троне, присмирившая жандармерия, торжество Государственной Думы и обезумевшие от счастья две столицы.

"Народ, — пишет газета "Одесские новости", — наконец-то получил то, за что столько лет боролся — свободу".

На улицах и в парках, в пивных, трактирах и кафе густые толпы возбужденных с горящими глазами людей. На Ришельевской улице группа

---

\* Иосиф Фошко (1891-1971), художник. Родился в Одессе. После окончания Художественной школы в возрасте шестнадцати лет получил стипендию для обучения в Париже. Имел персональные выставки во Франции и США.